



Валерия Вербинина
История одного замужества
Серия «Его величество случай»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8496303
Валерия Вербинина. История одного замужества: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-76315-3

Аннотация

Если бы управляющий помещьем «Кувшинки» знал, чем обернется его идея сдать имение на лето! Жильцы оказались очень беспокойными: актриса Евгения Панова с мужем и... любовником! Дама не постеснялась привезти с собой под видом друга семьи молодого актера Ободовского, с которым ее связывали весьма недвусмысленные отношения. Ничем хорошим это не кончилось – актрису убили прямо в гостиной, застрелили из револьвера с перламутровой рукояткой... Накануне Евгения посетила званый вечер, где известный писатель Ергольский по просьбе присутствующих придумал, как и почему каждого из них можно убить. И кто-то воспользовался его сюжетом в реальности... Ни у кого из гостей того вечера не было явного мотива, и следствие совсем зашло в тупик, когда в имении «Кувшинки» появилась его хозяйка, блистательная баронесса Амалия Корф, и сама взялась за расследование...

Содержание

Глава 1. Вечер в кругу друзей	4
Глава 2. Ни дня без строчки	11
Глава 3. Вечерний посетитель	18
Глава 4. Руки в карманах	25
Глава 5. Хлопоты и неприятности	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Валерия Вербинина

История одного замужества

Глава 1. Вечер в кругу друзей

После ужина, как водится, заговорили о русской интеллигенции.

– Интеллигенция – совесть нации, – заявила Клавдия Петровна и обвела окружающих воинственным взором. Она слыла передовой дамой, писала для журналов статьи, носила золотое пенсне и говорила громким голосом даже тогда, когда в этом не было никакой нужды.

– Насколько мне известно, толковый словарь с вами не согласен, – с тонкой улыбкой возразил ее сосед Чаев, журналист консервативного направления. – Его авторы уверяют, что интеллигенция – люди умственного труда, обладающие образованием и специальными знаниями в областях науки, техники и культуры, а также слой людей, который в этих областях работает. Ни о какой совести, как видите, тут нет и помину.

Его замечание передовая дама восприняла с явным неудовольствием.

– Толковый словарь – это, разумеется, прекрасно, но если мы говорим об интеллигенции, так сказать, в самом широком смысле, о ее предназначении...

– То есть о том, что вам угодно подразумевать под этим словом? – поддел ее Чаев. – Конечно, все мы слышали, что интеллигент в России больше, чем просто интеллигент, писатель – больше, чем просто писатель, и так далее. Воля ваша, но это чрезвычайно по-нашему, по-русски: создавать некие сакральные слова и присваивать им значение, которого они вообще-то не имеют. Вот сыр, к примеру, почему-то никто не пытается выдать за клюкву, и наоборот. Вы со мной не согласны?

Клавдия Петровна насупилась.

– Нет, и я считаю, что интеллигенция в любом случае должна быть совестью нации, – сухо сказала она. – Иначе совершенно непонятно, для чего... зачем...

Но эффектное завершение мысли никак не шло на язык, и передовая дама, досадуя на себя, изобразила пухлыми руками какой-то замысловатый жест.

– Совершенно с вами согласен, госпожа Бирюкова! – жизнерадостно поддержал ее бородатый поэт Свистунов. Николай Сергеевич тоже слыл личностью весьма передовой и даже беспокойной, особенно после двух рюмок водки. Каждого, кто соглашался слушать, он уверял, что именно из-за его взглядов косные редактора отказываются печатать его стихи. Впрочем, уныние Николаю Сергеевичу было неведомо: чем чаще ему отказывали, тем больше он сочинял.

– Значит, мещанин или промышленник никак не может быть совестью нации? – с улыбкой спросил присутствовавший среди гостей промышленник Башилов, видный брюнет с холеной бородкой и выразительными глазами.

– Это даже как-то обидно, – вставил Анатолий Петрович Колбасин, сидевший напротив него. – К примеру, я по паспорту мещанин, хоть и работаю в театре режиссером.

– Ради бога, Анатоль, – вмешалась его жена, эффектная и все еще красивая, несмотря на годы, актриса Панова. – Никто и не сомневается, что ты настоящий интеллигент.

Произнося эти слова, она то ли с расчетом, то ли неумышленно покосилась на сидящего возле нее молодого актера Ободовского. Все знали, что он пользуется особым расположением Пановой, да что там расположением – он был ее любовником. В подобных ситуациях можно держаться по-разному и даже сохранять некую видимость пристойности, однако актриса, хоть и вроде бы не делала и не говорила ничего особенного, ухитрилась вести себя

так, что даже слепой догадался бы о ее отношениях с томным красавцем-брюнетом. Заметив кокетливый взгляд жены, обращенный на соперника, ее муж потемнел лицом и отвел глаза.

– А что скажет наш достопочтенный хозяин? – спросил журналист.

Хозяин дома, беллетрист Ергольский, сочинявший развлекательные романы под псевдонимом «граф Делис», добродушно улыбнулся и развел руками.

– Полагаю, что по поводу интеллигенции будет сломано еще немало копий, – полусмешливо-полусерьезно заметил он. – Купечество, дворянство и чиновники существуют издавна, в то время как класс, именуемый интеллигенцией, появился сравнительно недавно.

– Не согласна, – пробасила Клавдия Петровна. – Послушать вас, так можно подумать, что у нас до последнего времени не водилось образованных людей...

– Такие люди есть во все времена, вопрос в другом – много ли их и каково их настоящее значение. Я, как вам известно, придерживаюсь мнения, что язык обладает способностью реагировать на все изменения в обществе; так вот, слово «интеллигенция» появилось именно тогда, когда стало ясно, что образовалась новая прослойка людей, которые не чиновники, не военные, не крестьяне и так далее. Они сами по себе.

– Гм, – молвил журналист, блестя глазами, – так граф Толстой, бывший артиллерийский офицер, не интеллигент?

При этих словах многие из тех, кто находился в гостиной, заулыбались.

– А вот тут мы подходим к очень серьезному вопросу, с какого именно времени человек может считаться интеллигентом, – без всякой улыбки ответил Ергольский. – Являются ли интеллигентами студенты, как, к примеру, присутствующие здесь молодые люди, или нет? – Он кивком головы указал на Павлушу, сына актрисы, и его приятеля Сержа, которые тоже сидели за столом. – Считать ли интеллигентом самого скучного, самого узколобого, самого неприятного учителя гимназии, который не видит дальше своего носа, хотя сам вроде бы занимается умственным трудом? А почтивший нас своим присутствием Андрей Григорьевич, – он повернулся в сторону Башилова, – автор нескольких важных изобретений для промышленности, но все же более известный как фабрикант, – считать ли его интеллигентом?

– Не продолжайте, голубчик, – рассмеялся промышленник, – я уже понял, что мое дело сторона!

– Да уж, куда вам до нас, – подтвердил Свистунов, дожевывая хлеб, который он украдкой взял с блюда.

– Николай Сергеевич, ну что вы... Моя мысль состоит совершенно в другом: я считаю, что интеллигентом можно считать всякого, кто этого захочет. Пусть он будет крестьянин-самоучка, капиталист, рабочий – да кто угодно. Интеллигенция – не замкнутая каста, точнее, не должна быть таковой... – Ергольский повернулся к Чаеву: – Георгий Антонович, вы хотели что-то возразить?

– Что вы, Матвей Ильич, как я могу вам возражать, да еще после такого замечательного ужина! – Журналист приподнялся на месте и галантно поклонился хозяйке дома, которая почти не принимала участия в разговоре и только переводила взгляд с одного гостя на другого. – Все, что вы говорите, в сущности, хорошо и правильно, только вот мой опыт говорит о том, что на самом деле подлинных, настоящих интеллигентов до ужаса мало. Все вроде образованные до чертиков, а кое-кто знает до пяти языков, в университетах учились, да-с! Ну и что с того? Почитайте-ка нашу публицистику, нашу критику, поприсутствуйте на дискуссиях так называемых интеллигентных людей – уверяю вас, вы сразу же заметите, что они смело дадут сто очков вперед любой базарной бабе. Клянусь вам, ни одна из этих особ в жизни не додумается до оскорблений, которые наши интеллигенты походя расточают друг другу, как только выясняется, что взгляды оппонента хоть в чем-то непохожи на их собственные. На словах, конечно, они призывают уважать чужое мнение, но на самом деле это означает, что все должны считаться с *их* мнением, а тот, кто осмелится им возражать, неуч,

дилетант, злодей и вообще недостойн звания человека. До ужаса неинтеллигентны наши интеллигенты, вот что!

Его слова вызвали именно тот эффект, на который, по-видимому, и рассчитывал опытный журналист. Все, задетые за живое, заговорили разом.

– Простите меня, но отрицать интеллигенцию... – Это – Клавдия Петровна.

– А по поводу критики я с вами совершенно согласна! – пылко вскричала Панова, которая чисто по-женски выхватила из потока рассуждений только ту мысль, которая была ей наиболее близка. – Эти рецензенты... что, в самом деле, они понимают в нашем искусстве?

– Но без рецензентов тоже нельзя, – заметил ее муж.

– Некоторых рецензентов вообще нельзя подпускать к театру, – возразил Ободовский, чтобы поддержать любовницу.

– Самое большое зло – это редактора, – доверительно сообщил Свистунов, наливая в рюмку водки. – Ни черта не смыслят в поэзии, а ведь мои стихи ничуть не хуже тех, что печатаются! – В его голосе звенела искривленная обида.

– Помню, как-то я взял на мой ревельский¹ завод директором одного чрезвычайно образованного господина, – сказал Башилов. – Пушкина цитировал так, что заслушаешься. «Евгения Онегина» – вообще наизусть шпарил целыми главами.

– Это Марков, что ли? – нерешительно спросила Натали, хорошенькая кудрявая дочь промышленника.

– Он, он, – подтвердил ее отец, блестя глазами. – Не успел я оглянуться, как он украл десять тысяч рублей.

– Нам бы ваши проблемы! – с притворным сочувствием вздохнула Клавдия Петровна, вытирая лицо платком.

Она шевельнулась на стуле, и тот протестующе закрипел. Передовая дама была весьма обширна и не без раздражения поглядывала на тоненькую, юную, очаровательную Натали, которая словно являла собой все то, чем Бирюкова никогда не была – и, увы, уже не будет.

– Кто будет еще чаю? – спросила хозяйка дома.

Оказалось, что все, и Ергольская, вызвав горничную Глашу, вполголоса отдала ей указания.

– Бабочка бьется о стекло, – заметила Натали, поглядывая в сторону окна.

Ее сосед Серж Карпов тотчас же поднялся, подошел к окну и пошире распахнул его, чтобы выпустить насекомое.

– Это мотылек, – сказал Башилов.

В саду стрекотали кузнечики, а в небе одна за другой зажигались первые звезды. Почему-то, хотя никто не осмелился высказать этого вслух, все почувствовали, что только что обсуждаемая ими волнующая тема потускнела, как-то скукожилась и перестала их волновать. Серж вернулся на место, и Натали поблагодарила его застенчивой улыбкой.

– Что вы сейчас сочиняете, Матвей Ильич? – спросила Клавдия Петровна у Ергольского.

Вопрос прозвучал скорее покровительственно – ведь Ергольский был представителем несерьезной литературы, а настоящий писатель должен говорить только о нуждах народа, при всяком удобном и неудобном случае порицать правительство и исповедовать исключительно передовые взгляды. Но Матвей Ильич считал, что его дело – создавать для людей волшебные миры, а что касается правительства и народа, то они сами как-нибудь разберутся, что им нужно.

– Криминальный роман, Клавдия Петровна, – ответил хозяин дома на вопрос своей собеседницы. – Или, как говорят за границей, детектив.

¹ Ревель – город Российской империи (сейчас – Таллин).

– Как интересно! – воскликнула Натали. – А кого там убивают?

– О, множество людей! Во-первых, даму...

– Во-первых? Матвей! – укоризненно промолвил журналист, качая головой. – Я так понимаю, что по ходу дела у тебя наберется штук десять трупов...

– И не стыдно вам убивать женщин? – капризно спросила актриса.

– Романы – чепуха, – объявил поэт, косясь на непечатый графин с наливкой. – Вот стихи сочинить не всякий может!

– Ну, сочинить – дело нехитрое, а вот напечатать их не так-то просто, – съязвил молодой актер, улыбаясь Пановой.

Свистунов побагровел.

– Не могу сказать, что я много читаю, – заметил Башилов. – Но среди криминальных романов попадаются весьма занимательные штучки. И хочешь оторваться, да не можешь.

– А убийцу в конце разоблачат? – спросила Натали у писателя.

– Разумеется, разумеется, – заверил ее Ергольский, – как же без разоблачения!

– Конечно, – фыркнул Свистунов, – кто же станет читать про нераскрытое убийство... хотя в жизни таких убийств хоть пруд пруди!

– Не говорите чепухи, – сердито сказал хозяин дома. – В нашем уезде таких не было уже несколько лет.

Поэт заморгал, сгорбился и сделал вид, что рассматривает скатерть.

– Как же вы придумываете свои убийства? – спросила актриса, кокетливо облокотившись о стол и со значением прищурившись.

По правде говоря, если и была на свете вещь, которую Матвей Ильич менее всего был склонен обсуждать, то ею являлась как раз творческая кухня, работа вдохновения – зовите как хотите. Ергольский и сам не очень хорошо понимал, как именно ему удастся выдумывать по несколько романов в год. К примеру, замысел его недавней книги пришел к нему, когда он услышал скрип колодезного ворота, чем-то поразивший его воображение; но поди объясни читателям, с какой стати этот самый обыкновенный, в сущности, звук так его вдохновил! И напротив, самый громкий, самый сенсационный процесс, о котором вздохом сообщали все газеты, процесс, по поводу которого хороший знакомый Чаев мог сообщить массу конфиденциальных подробностей, имел все шансы оставить Ергольского совершенно равнодушным. Поэтому на вопрос актрисы писатель ответил:

– Вот так и придумываю, Евгения Викторовна. Просто сажусь и представляю себе...

– Кого? – с любопытством спросила Натали.

– Ну, кого-нибудь, – неопределенно отозвался Матвей Ильич.

– О! О! – воскликнула заинтригованная Панова. – То есть вы можете придумать... ну, не знаю... убийство любого человека?

– Теоретически – да, – ответил Ергольский.

– Это игра воображения, – вмешался Чаев. – На самом деле, конечно, никто никого не убивает.

– Ну разумеется, разумеется, – прогудела Клавдия Петровна. – Думаю, Матвею Ильичу приходится постараться, чтобы все выглядело более-менее правдоподобно. Ведь на свете столько людей, которых никто не стал бы убивать.

– А вот тут вы заблуждаетесь, уверяю вас, – возразил журналист. – Правильно я говорю, Матвей?

– Да, убить можно любого, – твердо сказал писатель.

– Вы нас пугаете, – промолвил Колбасин со слабой улыбкой. – Так-таки – любого?

– Но ведь есть же совершенно безобидные люди, которым никто не захочет причинить зла, – заметила Клавдия Петровна.

– Почему же? Причина, чтобы убить человека, всегда найдется, – отозвался Ергольский.

– Я и не подозревала, что вы такой кровожадный. – Клавдия Петровна поджала губы. – Ну, раз так, то какая может быть причина, например, убивать меня?

– Ваше имение, – не моргнув глазом, объявил Ергольский.

– Имение? Матвей Ильич, воля ваша, но это мелко. Оно уже давно заложено и перезаложено...

– Ну да, ну да, – кивнул писатель, – но в один прекрасный день человек, который арендует у вас землю, обнаруживает там... ну, допустим, золото.

– Что за человек? – открыла рот передовая дама.

– Понятия не имею. Назовем его хотя бы Иванов. Так вот, Иванов понимает, что если вы узнаете о находке, ему мало что достанется. Одним словом, ему надо избавиться от вас, затем выкупить имение...

– Матвей Ильич!

– Клавдия Петровна, клянусь честью, это же вымысел! Поэтому не пытайтесь доказать мне, что вы не знаете никакого Иванова и что на вашей земле нет золота... И вот однажды, когда вы приезжаете из Москвы, Иванов ждет вас на станции, обещает подвезти... а потом, убедившись, что никто его не видит, душит вас веревкой. Я не знаю, как дальше будет развиваться повествование, – быстро добавил Ергольский, заметив, как сверкнули глаза передовой дамы, – но Иванов почти добьется своего, и тут его как раз разоблачит следователь. Конечно, следователь будет чрезвычайно умен и проницателен, потому что Иванов подстроит все так, что все улики будут указывать на ваших родственников... да вот хотя бы на Николая Сергеевича, – добавил писатель, указывая на поэта.

Свистунов, который действительно являлся дальним родственником Клавдии Петровны, вытарашил глаза и поперхнулся.

– Нет, не годится, – покачал головой промышленник, которого явно забавляло все происходящее. – Иванова заметят на станции и, как только начнется дознание, сразу же вспомнят, что это он встречал... гм... вашу героиню.

– Не вспомнят, – тотчас же нашелся Ергольский, – потому что Клавдия Петровна приедет ночным поездом, а начальник станции уедет на свадьбу к сестре, и на перроне никого не будет.

– Господи! – в изнеможении промолвила почтенная дама. – И чего вы только не напридумываете, чтобы сжить меня со свету...

Ответом ей был взрыв смеха.

– Клавдия Петровна, вы просто очаровательны! – объявил журналист. – Ну, а меня ты бы как убил, признавайся?

– Случайный выстрел на охоте, – отозвался Ергольский, мгновение поразмыслив. – Пуля, извлеченная из тела, не подходит ни под одно ружье тех, кто тогда находился в лесу...

– А дальше, дальше? – нетерпеливо спросила Натали.

– Дальше? Само собой, причина всему международный заговор против Российской империи. Георгий Антонович собирался разоблачить его в своей газете, за что и поплатился...

– Ну надо же! – восхитилась Панова. – Я настаиваю, чтобы вы убили и меня тоже. Только, пожалуйста, прошу не душить, потому что на сцене меня достаточно душили, – кокетливо добавила она.

Ее муж нахмурился и послал Ергольскому умоляющий взгляд.

– Тогда, пожалуй, я вижу вас в гостиной, обставленной благородной старинной мебелью, – вздохнул писатель. – В роскошном платье вы полулежите в кресле. – Актриса открыла

рот. – Возле вашей правой руки, которая свешивается через подлокотник, на персидском ковре, которым покрыт пол, поблескивает револьвер с перламутровой рукояткой...

– О!

– Все сначала думают, что это самоубийство, но вскоре выясняется, что это не так, – вставил журналист. – Извини, я, кажется, раскрываю твои секреты... Прошу, продолжай!

– Само собой, начинают подозревать всех, кто находился в доме, – фантазировал Матвей Ильич. – Следователь, образцовый, но туповатый служака, в тупике, ему кажется, что все от него что-то скрывают... Тем временем происходит второе убийство. Это... ну, допустим, служанка. Она что-то знала или видела... – Ергольский выдержал паузу и обвел взглядом лица притихших слушателей. – В конце концов выясняется, что причиной всему – театральные интриги. Некая актриса, которая считает, что вы заняли ее место и разрушили ее жизнь... в общем, она захотела отомстить и подослала своего любовника. Или сына, – задумчиво добавил писатель, – пожалуй, сын будет лучше, потому что я имел в виду опустившуюся актрису, которая живет только мыслью о мести...

– Нет, – твердо сказала Панова, – он меня не убьет, а только ранит. Я перетяну его на свою сторону, он раскается... А в пятом акте я воскресну и снова появлюсь на сцене. Выйдет прекрасная мелодрама, – добавила она, оживившись. – Матвей Ильич, миленький, а вы не хотите написать пьесу на эту тему?

– Я... право... – пробормотал Ергольский, теряясь.

– Муж сейчас занят своим романом, – пришла ему на выручку жена. – Но он обязательно подумает над вашим предложением!

– А мне, наверное, вы уготовили какую-нибудь скучную смерть, – заметил Башилов, пытливо глядя на хозяина. – Не видать мне ни старинной мебели, ни револьвера с перламутровой рукояткой...

Но Ергольский нашелся и тут, на ходу сочинив промышленнику смерть от укуса ядовитой змеи, присутствие которой объяснялось исключительно происками конкурентов. Мужа актрисы, тишайшего Анатолия Петровича, писатель отравил ядом кураре на Невском проспекте, ибо злоумышленница-горничная прежде всех прознала о том, что режиссер выиграл в лотерею 10 000 рублей золотом, и рассчитывала под шумок присвоить билет себе. Младшего Колбасина, который весь вечер почти не открывал рта, Ергольский объявил случайным обладателем государственной тайны и безжалостно сбросил с воздушного шара, дабы окончательно запутать следы. Красавца Ободовского, по версии Матвея Ильича, из ревности заколола кинжалом некая фрейлина, приревновавшая его к другой. Сержа Карпова, который не сводил влюбленных глаз с белокурой Натали, писатель обличил как безжалостного злодея и члена преступной организации, который раскаялся под влиянием любви (тут Натали очаровательно покраснела) и был устранен своими коллегами. Саму Натали при случае не отказалась бы убить соперница из высшего общества, завидующая ее молодости и красоте...

Как Николай Сергеевич ни прятался за самоваром, который принесла Глаша, пришлось и поэту побывать жертвой в вымышленном детективе: повесив его, Ергольский объявил, что под подозрением у следователя оказались все редактора, которым Свистунов когда-либо посылал стихи. Когда стих дружный смех, Матвей Ильич объяснил, что на самом деле Николай Сергеевич был балканский принц и законный наследник престола, которому пришлось скрываться в России. Увы, даже попытка сойти за обыкновенного поэта не сумела его спасти!

– Господи, – вымолвил потрясенный Свистунов, – ну и фантазия у вас! Даже не скажешь, что за ужином вы ничего не пили...

– И откуда на моей земле золото? – добавила Клавдия Петровна с недоумением. – Да в нашей губернии его вообще не водится... Мне всегда казалось, что любой вымысел должен быть прежде всего правдоподобным. Разве нет?

– Вымысел должен быть увлекательным, Клавдия Петровна, потому что скучная литература – это не литература вообще, – с улыбкой отозвался Ергольский. – Кроме того, читателю нравится, когда за самым незначительным фактом скрывается какая-то тайна, пусть даже сама по себе она не слишком оригинальна.

И хотя было уже поздно, гости задержались, насколько позволяли приличия, а когда все-таки настало время расходиться, почти все покидали дом писателя с ощущением, что вечер чрезвычайно удался.

Глава 2. Ни дня без строчки

Матвею Ильичу Ергольскому недавно исполнилось 39 лет. Это был русоволосый господин среднего роста с небольшими усами, которые, пожалуй, составляли самую примечательную черту его вполне заурядной внешности. Глаза у него были серые, глубоко посаженные, руки – артистические, с изящными пальцами, как у пианиста или карманника высшей пробы. К одежде Матвей Ильич был вполне равнодушен, но благодаря какой-то прихоти судьбы самый обыкновенный костюм сидел на нем безупречно, а когда писатель собирался на какое-нибудь торжественное мероприятие с фотографированием (что случалось довольно редко), то можно было не сомневаться, что на групповом снимке он будет выглядеть лучше прочих. Сам он не любил ни многолюдных сборищ, ни торжественных речей, ни всех тех скучных, но необходимых обязанностей, какие налагает известность. Имя его не то чтобы гремело по всей России, но было вполне популярно, а кое-где даже и уважаемо. Когда-то Ергольский поступил на юридический факультет университета, но в глубине души он отлично понимал, что на самом деле его интересует только одна вещь в мире – литература. По его мнению, на земле существовали лишь два подлинных удовольствия: первое – прочитывать хорошую книгу и второе – сочинить хорошую книгу. И Матвей Ильич был убежден, что когда придет его время, он сумеет создать глубокую, серьезную вещь, которая отразит современную ему эпоху и вберет в себя лучшие качества автора.

Сочинять он начал еще в гимназии, но именно во время учебы в университете стал писать более или менее систематически, заполняя толстые тетради замыслами, конспектами характеров и набросками диалогов вперемешку с мнениями о прочитанных книгах и хозяйственными расходами. Через университетских знакомых Ергольский стал вхож в некоторые редакции, которым требовались рассказы и повести и которые были готовы рискнуть, напечатав дебютное произведение молодого автора. Матвей Ильич решил, что его время пришло, и немедленно сел за работу. Он был так увлечен своим произведением, что нередко забывал поужинать. Вещь, которую он сочинял, должна была, по его мнению, стать новой вехой в русской литературе. (По молодости Ергольский не возражал бы, если бы его книга произвела переворот и в мировой литературе, но так как он был от природы скромнен, то решил пока ограничиться родной словесностью.)

В мае он закончил черновой вариант и уехал отдохнуть в имение матери. От знакомого студента, начинающего журналиста Георгия Чаева, Матвей Ильич уже знал, что любой текст должен отлежаться перед правкой, чтобы его недостатки было легче заметить. В августе Ергольский вернулся в Петербург – вернулся, по сути, к своему произведению, мысль о котором не покидала его и во время отдыха. Однажды вечером он развернул заветную тетрадь, взял перо и...

И не узнал своего текста. Первая фраза была ужасна, первый абзац – еще хуже. Огромные корявые фразы, разбухшие от придаточных, налезали друг на друга, погребая авторскую мысль под грудой слов. То тут, то там возникали длиннейшие и подробнейшие описания пейзажей, без которых совершенно спокойно можно было обойтись. Героиня то славилась своим серьезным характером, то залиvisto хохотала в ситуациях, в которых бедный Ергольский не видел теперь ничего смешного. Главный герой был напыщен, ходулен и даже хуже того – глуп как пробка. Коротко говоря, авторское бессилие сквозило в каждой странице, каждой строке и даже знаке препинания, потому что по молодости Матвей Ильич понаставил множество лишних восклицательных знаков и многоточий там, где опытный писатель наверняка ограничился бы просто точкой.

Ергольский провел ужасную ночь. Ворочаясь с боку на бок, Матвей Ильич менее всего думал о том, как он, начитанный, культурный человек, вроде бы неплохо разбирающийся в

литературе, мог породить этакое недоразумение. Речь, в сущности, шла о другом – о том, может ли он вообще сочинять. Вопрос этот имел для Ергольского такую важность, что он всерьез стал рассматривать возможность самоубийства, если вдруг окажется, что писателем ему не быть.

В то время он для заработка сочинял небольшие статьи для газеты, в которую его привел Георгий Чаев. Угодить редактору было нелегко, и порой Ергольскому приходилось задерживаться в редакции, чтобы переписать заметку так, чтобы ее утвердили. Однажды, когда Матвей Ильич, в глубине души проклиная все на свете, на краешке стола перекраивал статью, в которой следовало по-новому подать чрезвычайно старую и зажеванную мысль, в редакции появилось Очень Значительное Лицо. Лицо это было известным писателем и имело облик господина с щегольской тростью, в элегантном пальто, барашковой шапке и покрытых густейшей петербургской грязью калошах. Точности ради стоит отметить, что лицо было слегка под хмельком и явилось сюда с одной-единственной целью – выцарапать из редактора гонорар, который тот по интеллигентской привычке запомнил выплатить.

Так как известный писатель имел репутацию скандалиста (не исключено, что как раз потому, что не стеснялся требовать то, что ему причиталось), редакционные работники благоразумно предпочли при его появлении испариться. Посетитель рухнул в кресло напротив Ергольского, который, забыв о своей статье, смотрел на него во все глаза. Несколько секунд подвигав губами, известный писатель наконец осведомился (судя по всему, у шкафа в углу), где тот подлец, который зажал его гонорар.

– В-вы Иван Степанович? – несмело спросил Ергольский.

Известный писатель перевел на него тяжелый взгляд и громко вздохнул.

– Мой отец – Степан, – объявил он во всеуслышание. – А меня при крещении нарекли Иваном. Эт-то понятно, милостивый государь?

– Простите, ради бога, – пролепетал Матвей Ильич, краснея, – я имел в виду... я хотел сказать... Для меня такая честь – увидеть вас... автора произведений, которые я люблю... – Он перечислил, что именно у собеседника ему нравится, а затем, спохватившись, назвал свое имя и объяснил, что тоже является писателем, хоть и начинающим.

– А! Коллега! – усмехнулся известный автор. – Ну что ж, поздравляю вас... хотя поздравлять, собственно говоря, не с чем: российская словесность – та еще штучка, да-с... Вы уже печтаетесь?

Матвей Ильич закручинился и объяснил, что он уже некоторым образом успел кое-что сочинить, но когда он стал перечитывать написанное, оно ему самым решительным образом не понравилось и вообще он теперь не знает, что ему делать дальше.

– Как что – работать, – хладнокровно ответил его собеседник. – Двигаться вперед, если вы, конечно, не передумали и не избрали более спокойную профессию, – и он выразительно покосился на перемаранный черновик статьи, лежащий на столе перед Ергольским.

– Я хочу быть писателем, – твердо ответил Матвей Ильич, чувствуя, как бешено бьется его сердце. Посетитель упер трость в пол, положил руки на набалдашник и уткнулся в них подбородком, глядя на молодого человека весьма иронически.

– Что ж, весьма похвально, – уронил известный автор. – Полагаю, вы собираетесь спросить моего совета, попросите прочесть ваше творение... и так далее. – Он выразительно скривился. – Советов я, милостивый государь, не даю, но кое-какими соображениями не откажусь поделиться.

Матвей Ильич схватился за чистый лист бумаги и поспешно обмакнул в чернильницу перо – так поспешно, что даже испачкал пальцы.

– Нет, записывать ничего не надо, – усмехнулся посетитель. – Ваше счастье, что бордо – отличное вино, потому что вообще-то я не люблю говорить о деле с начинающими. Прежде всего, запомните: никто и никогда не будет вам помогать. У известных авторов достаточно

хлопот со своими рукописями, и они не станут заниматься работами новичков. Редактора, что вполне естественно, предпочитают тех, кто уже зарекомендовал себя, потому что ни у кого нет охоты объяснять начинающим их ошибки. Кроме того, это заведомо безнадежное дело, потому что всякий дебютант с пеной у рта защищает любую чушь, которую он написал... – Знаменитый писатель икнул, но даже прекрасное бордо не лишило его способности доводить до логического завершения любую начатую мысль, и Иван Степанович уверенно закончил фразу: – Ошибочно принимая ее за выражение своей творческой индивидуальности.

– Но как понять, где настоящая индивидуальность, а где... – робко начал Ергольский.

– Вот то-то и оно, – кивнул посетитель. – Дело в том, что любой талант имеет свою направленность, свои ограничения, если хотите. И первейшая ваша задача заключается в том, чтобы выявить, к чему именно у вас есть талант. Достигается это, увы, путем проб и ошибок и нередко – за счет читателя. Кроме того, когда я говорю «талант», я имею в виду не только умения, которые у вас присутствуют, но и в какой-то мере ваш вкус, ваши личные предпочтения. Никому еще не удавалось сочинить что-либо значительное в той области, которую автор терпеть не может, а пытаться переломить себя в угоду публике вообще бесполезно, это путь в никуда, потому что она все равно толком не знает, чего хочет. Даже если вы станете знаменитым и корреспонденты всех газет будут толпиться под вашей дверью, никогда не забывайте, что по большому счету публике на вас наплевать, и как только вы хоть чем-то ей разонравитесь, она с необычайной легкостью переключится на кого-нибудь другого. Но даже если вам повезет, милостивый государь, и вы сумеете найти себя в литературе – а это очень важно – найти свой стиль, свою неповторимую манеру, вам придется много работать над собой, чтобы потихоньку расширять свои границы. Вообще ключевое в сочинительстве слово – именно работа. Забудьте всю эту чушь о вдохновении, которое то приливает, то отливает. Вдохновение – выдумка старых писателей для публики, которая в то время не принимала их всерьез. Все корчили из себя любимцев муз, жрецов Аполлона и не знаю кого еще. Истина значительно проще и грубее: писатель должен жить скромно, как мышь, и работать, как лошадь. Заметьте, мы работаем не только тогда, когда пишем, но и тогда, когда отдыхаем; мы накапливаем впечатления, бессознательно отбираем нужные факты, присматриваемся к людям, даже если не собираемся вставлять их в книгу. Раз вы начинающий, то вам придется заниматься ровно тем же. Опишите комнату, в которой находитесь сейчас, на одной странице, а потом сделайте то же, но в одной фразе. Опишите девушку, которую вы встретили на улице, развернуто и кратко, опишите закат, который вы видели, все, что угодно. Возможно, что вам это в ближайшее время не пригодится, но, по крайней мере, вы чему-то научитесь, а в литературе не бывает ничего лишнего.

Сочтя, очевидно, что он и так сказал слишком много, известный писатель поднялся с места и поудобнее перехватил свою трость, с которой редко расставался и которую ухитрялся даже нигде не терять, несмотря на все кутежи и свою достаточно безалаберную жизнь.

– Иван Степанович! – в панике вскричал Ергольский. – Но если мне никто не помогает, если я один... как я пойму, получается у меня или нет, удачно описание или нет, сумел я передать облик девушки, как вы говорите... или...

– Глупо думать, что вы один, – отмахнулся знаменитый автор, – ведь все писатели прошлого и все современные писатели к вашим услугам, милостивый государь! Читайте их, анализируйте, с чего они начинают, как ведут героев по лабиринту сюжета, как заканчивают свои произведения, как строят описания, чего избегают и какие делают ошибки – да, на чужих ошибках тоже можно открыть для себя немало полезного! И ради бога, забудьте про спесь, про то, что вам кто-то чего-то должен, а то наши новички обыкновенно так себя ведут, словно одним своим присутствием делают честь нашей литературе.

И, забыв о неполученном гонораре, о разноте, который он собирался учинить прижимистому редактору, известный автор двинулся к выходу, величаво помахивая тростью. Грязь таяла на его калошах, оставляя на полу мокрые следы.

— А моя повесть... — пробормотал Матвей Ильич, понимая, что посетитель, который чуть-чуть приоткрыл перед ним дверь в волшебную страну — литературу, вот-вот исчезнет, — как вы полагаете, ее лучше... того... уничтожить? Раз уж она совсем не удалась...

Знаменитый писатель обернулся, смерил своего юного коллегу взглядом и укоризненно покачал головой.

— Уничтожить рукопись вы всегда успеете, — снисходительно объявил посетитель, — это дело нехитрое... Посмотрите, есть ли хоть что-то, что вам удалось, отметьте для себя самые слабые места и работайте, работайте...

Впоследствии Ергольский прочитал немало теоретических трудов о писательской работе, и даже — да-да, вы угадали — сочинил несколько статей на ту же тему, но никто не смог затмить в его мнении Ивана Степановича или хотя бы отчасти заменить его. Пусть именитый автор не во всем оказался прав, — например, выяснилось, что вдохновение на самом деле очень даже существует, — Матвей Ильич продолжал считать посетителя редакции своим литературным учителем и не переменял своего мнения даже тогда, когда звезда его знакомого закатилась.

...Вернувшись к себе в тот знаменательный вечер, Ергольский вооружился красным карандашом и внимательно перечитал свою рукопись. В некоторых местах он прямо-таки ежился от неловкости, а увидев неведомо как прокрававшуюся в текст «длинную девушку» (которая вообще-то была всего лишь «девушкой с длинным лицом», но автор торопился и написал не то, что хотел), испытал неподдельное страдание. Были и кое-какие удачные моменты: обмен колкими репликами в третьей главе и пара второстепенных персонажей, которые получились выпуклыми и интересными, причем оба по сюжету были редкостными негодяями. Однако все это было настолько далеко от грез Матвея Ильича о его книге, которая обогатит литературу, что он расстроился еще больше, чем тогда, когда перечитывал свое творение в первый раз.

«А все-таки, — размышлял он позже, лежа в постели, — не может быть, чтобы все было зря и меня с детства тянуло к книгам лишь для того, чтобы я написал весь этот вздор о длинной девушке... — Его аж передернуло от неловкости при одном воспоминании о ней. — Он сказал, что надо найти себя, а для этого надо работать... Ну что ж, никто ведь не обещал мне, что все окажется легко».

На следующий день Матвей Ильич повесил над столом листок с изречением «Nulla dies sine linea»², чуть пониже после легкого колебания приписал: «Писатель должен жить скромно, как мышь, и работать, как лошадь», и принялся за дело. Подобно Шекспиру, Ергольский имел отныне право считать, что весь мир — материал, а все люди в мире — вероятные персонажи. Он наблюдал и записывал, записывал и наблюдал. Когда он теперь читал книги, он поступал так, как советовал известный автор, — отмечал, как движется сюжет, как показаны герои, какие детали автор подчеркивает, а какие опускает. Очень скоро он открыл, что идеальный рассказ — «Ожерелье» Мопассана и что по-настоящему в литературе важны лишь три вещи: новый сюжет, новый герой и новый жанр. Стил, конечно, имеет свою ценность, но безупречная по языку книга производит удручающее впечатление, если все стилистические изыски призваны лишь замаскировать пустоту замысла.

В последующие месяцы Ергольский сочинил несколько рассказов, и некоторые из них были опубликованы, и даже принесли ему кое-какие деньги — но не принесли удовлетворения. В литературе в те дни господствовал непролазный реализм, а в реализме — мятущий-

² Ни дня без строчки (лат.).

еся души, чахоточные студенты, страдающие проститутки, которым непременно надо было сочувствовать, и герои в конце концов непременно умирали в какой-нибудь комнате размером с табакерку под аккомпанемент морозящего за окном дождя. Ергольский видел студентов, которые учились вместе с ним, и были они самые обыкновенные люди, какие, похоже, реализму противопоказаны. Мало кто из них страдал чахоткой и уж точно никто не произносил патетические многостраничные речи, полные туманных намеков на прогресс и грядущие перемены. Что касается проституток, то Матвей Ильич был брезглив и не имел никакого желания им сочувствовать, даже если по воле автора они произносили самые глубокомысленные сентенции и предавались раскаянию в каждой главе (продолжая, впрочем, преспокойно заниматься своим ремеслом). Воображение влекло его в совершенно другую сторону, в комнаты, где играли на рояле, вели приятные беседы обо всем и ни о чем, где сидели красивые дамы, обмахиваясь веерами, а за окнами пенилась белая сирень, точь-в-точь как в имении его матери. И в конце его истории все злодеи получили бы по заслугам, как и должно быть, и никто из положительных героев не умер бы в комнате, похожей на табакерку.

Некоторое время Матвей Ильич с грехом пополам совмещал учебу с работой, но когда стало ясно, что долго такое положение не продержится, он без колебаний оставил университет и превратился в полуписателя, зависшего между журналистикой и газетной прозой. Он продолжал писать статьи, потому что их было проще пристроить, чем рассказы, которые к тому же самого его не удовлетворяли. Он пытался быть реалистом в господствующем тогда духе, но именитый автор оказался прав – невозможно писать хорошо на тему, которая не вызывает у автора ничего, кроме отторжения. Как-то Ергольский получил задание от редактора сочинить «что-нибудь этакое о магдалине, чтобы выжать слезу». (Редактор, не раз и не два получавший трепку от цензуры, по профессиональной привычке даже в жизни воздерживался от чересчур прямолинейных слов и предпочитал говорить «магдалина» вместо «проститутка»). Придя домой, Ергольский поужинал и сел за работу, но не тут-то было. Проститутка в его рассказе появлялась, но стоило ей возникнуть, как ее тотчас убивали. Как автор ни бился, судьба его героини была предрешена с первых же строк. Предчувствуя для себя неприятности, Ергольский тем не менее закончил рассказ и принес его редактору.

– Гм! – сказал тот, прочитав написанное. – Ну, это не совсем то, что нам надо... Совсем не то! Однако написано живо... читается легко... Вот что: раз уж мне все равно нечего ставить в номер, помещу-ка я ваш рассказ. Вы, батенька, конечно, безжалостно с ней обошлись, так что в другой раз я все же жду от вас что-нибудь этакое... жалостливое...

Но другого раза не случилось, потому что неожиданно выяснилось, что публике надоели жалостливые рассказы и она, напротив, хочет читать истории с напряжением, с преступлениями, коварными злодеями и находчивыми сыщиками. Поначалу Матвей Ильич воспринял работу такого рода как чистое ребячество, но когда после рассказов пришла очередь романа с продолжениями, за который ему посулили повышенный гонорар, и он увидел в своем воображении всю паутину замысла, который ему предстояло воплотить, он почувствовал необыкновенный душевный подъем. Это будет – как он определил для себя – двойная история, где непритязательный читатель увидит хитроумные сюжетные перипетии, а взыскательный – тонкий юмор, скрытые цитаты из классиков и словесные ребусы, которые под силу разгадать только человеку образованному.

– Как будете подписывать ваш роман? – спросил редактор, глядя на Матвея Ильича добрыми, полными надежды глазами.

Согласно принятой тогда газетной практике, у каждого автора было несколько псевдонимов, которыми он пользовался по своему усмотрению.

– Ну, пусть будет граф Делис, – брякнул Ергольский, не подумав.

Он и сам не знал, откуда взялось это имя. Одно время ему казалось, что оно пришло из какого-то рассказа Мопассана, но вскоре выяснилось, что такого персонажа у француз-

ского писателя нет. Словом, когда поклонники и интервьюеры позже расспрашивали Матвея Ильича о том, как он выбрал псевдоним, сделавший его известным, писателю приходилось принимать загадочный вид и уклончиво говорить, что это секрет...

В общем, писатель нашел себя, и оказалось, что лучше всего на свете у него получается писать о приключениях и тайнах. И пока его герои путешествовали, сражались и раскрывали заговоры, их автор вел размеренный образ жизни, сочиняя каждый день по новой главе – или же обдумывая новый замысел, если предыдущий подошел к концу. Георгий Чаев, дружбу с которым Ергольский сохранил, не мог усидеть на одном месте; он объездил всю Европу, побывал в Японии, Бирме и Индии, откуда привез другу пару мангустов, а его жене – экзотическую орхидею. В противоположность журналисту, Матвей Ильич с годами все меньше и меньше любил перемещаться. Вдобавок Петербург стал его утомлять, да и здешний климат писателю никогда не нравился. В конце концов он окончательно осел в имении матери, заплатил кое-какие семейные долги и отремонтировал старую усадьбу. Переезд его из столицы империи в провинцию почти совпал с женитьбой.

Если бы Матвея Ильича спросили, почему он женился на Тоне, именно на ней, Ергольский, скорее всего, затруднился бы ответить. Ему было уже за тридцать, ей – чуть меньше тридцати; она не могла похвастать особой красотой – красивы в ней были только большие голубые глаза и высокий чистый лоб. Но она получила хорошее образование, любила книги, и ее отец, как и отец писателя, был заядлый картежник, прокутивший семейное состояние. В конце концов ее отец застрелился, а его отец спился и умер. Матвей Ильич не мог простить ему того, что своим поведением он сократил дни матери, которая неожиданно скончалась вскоре после него. Возможно, из-за того, что старший Ергольский был человеком, обуреваемым страстями, его сын предпочитал испытывать страсти только в своих книгах. В жизни Матвей Ильич был уравновешен, превыше всего ставил здравый смысл и, возможно, кому-то из своих читателей, которые склонны путать автора с его персонажами, показался бы до отвращения скучным.

Хотя Ергольский не любил шумных сборищ, он с удовольствием принимал гостей и считался хлебосольным хозяином. По соседству с его небольшим имением располагались земли, которые купил промышленник Башилов, а с другой стороны – усадьба передовой дамы, к которой на лето частенько приезжал из Петербурга ее родственник-поэт. В некотором отдалении, по другую сторону озера стоял белый дом, который, как и его окрестности, принадлежал какой-то даме с немецкой фамилией. Кажется, дом достался ей от дальнего родственника, но саму даму в этих краях видели редко, а дом на лето сняли приезжие: знаменитая актриса, выступавшая под псевдонимом Панова, ее муж, режиссер Колбасин, их сын Павел и его приятель Сережа, которого все на французский манер величали Сержем. На правах друга семьи в доме поселился и актер Иннокентий Ободовский, хотя его истинное положение ни для кого не было секретом.

– Не понимаю я таких женщин, – пожаловалась Антонина Григорьевна, когда гости удалились. – Этот актер всего на несколько лет старше ее сына. И она говорит, что ей тридцать три, хотя ее сын учится в университете...

Удивленный ее тоном, муж вскинул на нее глаза.

– Ну, Тоня, таким женщинам, как она, всегда тридцать три... По крайней мере, они хотели бы уверить в этом всех окружающих.

Антонина Григорьевна промолчала, нервно перебирая бахромой белой шали, которой зябко укутала свои плечи.

– Она с тобой кокетничала, – неожиданно проговорила жена, и какие-то новые нотки прорезались в ее голосе.

– Со мной? Тоня!

– Кокетничала, не спорь... Ты-то, может, и не заметил, но вот Георгий Антонович все видел.

Журналист, который гостил в их доме, уже отправился спать, и потому апелляция к отсутствующему другу показалась писателю особенно нелепой.

– Ты у него спроси, – добавила жена с обидой.

– Зачем? Тоня, это нелепо, ей-богу. Мне нет до нее никакого дела...

– Она хочет, чтобы ты написал для нее пьесу. Она тебе намекала...

– Пьесу? Тоня, милая, я не пишу пьес, это всем прекрасно известно...

– Панова поссорилась со своим постоянным автором из-за этого актера. Он все время капризничал, что для него нет хороших ролей... – Ергольская промолчала, а затем решила высказать догадку, которая пришла ей на ум: – Я думаю, она не просто так сюда приехала. Ей нужен ты, потому она и сняла на лето этот дом по соседству с нами... И каждый раз, когда она оказывается у нас в гостях, она заводит речь об одном и том же.

– Тоня, прости, но ты читала слишком много моих романов, – проворчал Ергольский, которого стал сердить мелодраматический оборот, который принимал разговор. – Я не сочиняю пьес и не собираюсь их сочинять. Евгения Викторовна – вполне состоявшаяся актриса, и любой драматический автор сочтет честью с ней работать. Лично я быть таким автором никак не могу, потому что у меня полно своих дел...

– Как скажешь, – безнадежно отозвалась его жена и погрузилась в молчание.

Подобно большинству своих собратьев, Ергольский вел дневник, и когда беллетрист перед сном сел записывать события минувшего дня, ему прежде всего вспомнился разговор с Антониной. Однако Матвей Ильич решительно тряхнул головой и аккуратно записал в книжечку другое:

«Весь день – прекрасная погода. Устроили *soirée*³. Гости: Жора Чаев, Клавдия Петровна, Николай Сергеевич, Башилов и его дочь, актриса Панова, режиссер Колбасин, актер Ободовский, сын актрисы и приятель последнего, итого десять человек. Говорили о русской интеллигенции, затем зашла речь об убийстве, – я продемонстрировал, как и за что можно убить любого присутствующего. Приятно провели вечер».

Дописав последнюю фразу, он поставил точку, убрал перо, закрыл книжечку и спрятал ее в ящик стола, после чего потушил свет и отправился спать.

³ Званный вечер (*франц.*).

Глава 3. Вечерний посетитель

Следующий день Клавдия Петровна запланировала посвятить написанию статьи, которую ей заказал журнал. Статья была очень важная и, само собой, передовая; говорилось в ней о необходимости введения начального образования в России для всех детей, вне зависимости от их социального статуса и пола. В своем воображении Клавдия Петровна уже видела эту статью, хлесткую и яркую, полную безупречных доводов и в пух и прах разбивающую все возможные возражения оппонентов. Дело было за малым – оставалось только сесть и написать.

Клавдия Петровна устроилась у окна, которое любила больше всего, потому что из него открывался прекрасный вид на сад и старые деревья. За деревьями начиналось озеро, на другом берегу которого виднелся белый дом, в котором поселилась Панова со своей беспокойной свитой.

Стояла жара, но с озера то и дело доносился освежающий ветерок, так что дышать было легко. В небе для виду прохлаждались несколько облаков, но выглядели они несерьезно, потому что было совершенно понятно, что никакого дождя сегодня не было и не будет.

Клавдия Петровна окинула взглядом сад, деревья, помнившие ее, когда она была еще маленькой девочкой с длинными косичками, озеро, на котором покачивались кувшинки, и черты ее смягчились и потеплели. У нее было круглое лицо с пухлыми губами, вздернутым носом и глазами слегка навывкате, которые за стеклами пенсне тоже казались круглыми. Длинные темные волосы она зачесывала в объемистый пучок и закалывала шпильками. Высокая, ширококостная, дородная, Клавдия Петровна умела производить впечатление, но вряд ли кто-то мог назвать это впечатление положительным. С детства Бирюкова знала про себя, что некрасива, и с детства же решила, что никогда не будет переживать по этому поводу. Но принять решение – одно дело, и воплотить его в жизнь – совсем другое. Бессонными ночами, которые в последнее время случались все чаще и чаще, Клавдия Петровна не могла отделаться от мысли, что она отдала бы все на свете за двадцать лет и осиную талию. На людях она держалась так, словно ее жизнь удалась и другой участи она бы для себя не пожелала; но когда она оставалась наедине с собой, на нее нередко накатывали приступы отчаяния. Ей мучительно не хватало семьи, хорошей семьи вроде той, которую она помнила с детства и которую уже не надеялась воссоздать в своей жизни – семьи, где есть муж, жена, дети, гувернантки и смешная лохматая собачонка, которая вертится у всех под ногами и которую все всё равно обожают. Без семьи, полной любви, не имели значения ни фамильная усадьба, мало-помалу приходящая в упадок, ни деревья за окном, ни озеро со всеми его волшебными кувшинками.

Придвинув к себе стопку бумаги, Клавдия Петровна решительно обмакнула перо в чернильницу и вывела заглавие, а за ним – первую фразу статьи. Она писала размашистым почерком, широко расставив на столешнице пухлые локти; писала, не обращая внимания на зудящее, настойчивое, неприятное ощущение, которое не покидало ее, – но на второй или третьей странице перо запнулось, сделало в воздухе замедленный пируэт и посадило на бумагу небольшую кляксу.

Все было неправильно: и заглавие, и первая фраза, и вторая, и вообще весь текст, который казался в ее воображении таким безупречным, а на бумаге – как она ясно понимала сейчас – оказался лишь набором трескучих фраз, слабо связанных друг с другом. Пот катился по ее лицу, затекая в глаза; Клавдия Петровна негнущейся рукой положила перо, сняла пенсне и машинально протерла его.

Слова всегда давались ей с невероятным трудом. Каждый раз Бирюкова говорила себе, что уж теперь-то она справится, она знает тему, как свои пять пальцев, и никто не сумеет

объяснить суть проблемы лучше, чем она; но когда доходило до дела, она по несколько часов кряду мучилась над двумя-тремя абзацами, правя, зачеркивая и правя снова, после чего нередко теряла терпение, вскакивала с места, металась по комнате, потом возвращалась за стол, чтобы снова вычеркивать, исправлять, уточнять и опять зачеркивать... Ей всегда хотелось сказать больше, сказать лучше, не забыть ту или иную подробность, предугадать то или иное возражение; хотелось вместить в текст все, что ее волновало, но словно какой-то злой рок тяготел над ней, и на бумаге непременно получались или незатейливые штампы, или корявые, неуклюжие обороты, которые словно насмехались над ней, над ее стараниями. Слова не любили Клавдию Петровну, и разрыв между ними и мыслью, которую она пыталась выразить, всегда больно ранил ее.

Черновики ее статей, даже самых обычных, которые любой читатель счел бы проходными, в конце концов начинали напоминать непролазные лабиринты, и сама истерзанная Клавдия Петровна под конец хотела только одного – как-нибудь добраться до последней фразы, любой ценой, отстрадать и поставить финальную точку. Между тем, что она писала, и тем, что в ее воображении казалось таким ясным и логичным, словно протягивалась какая-то темная завеса; написанное почти всегда удручало ее и никогда не радовало так, как придуманное, но еще не воплощенное на бумаге. Она не могла понять, как такое может быть, и в глубине души отчаянно завидовала таким людям, как Ергольский. Подумать только, он садился за работу сразу же после завтрака и мог за один присест написать несколько десятков страниц, а после ужина нередко отправлялся править то, что написал вчера. И эта Антонина с ее кислым лицом наверняка не понимает, как ей повезло с мужем – мало того, что работающий, так еще все деньги отдает в семью, не пьет, не содержит любовниц, не...

Клавдия Петровна тряхнула головой. Нет, нет, нет, нельзя сейчас отвлекаться на Ергольского, надо думать о всеобщем образовании, о статье, которую ждет редактор. Она скомкала первые страницы, отложила их в сторону – вдруг кое-какие обороты окажутся впоследствии удачными, и их можно будет вставить в окончательный текст – и принялась сочинять статью заново.

Второй вариант оказался еще хуже, чем первый, и Клавдия Петровна, убив на него часа полтора, начала третий. На этой стадии работы она нередко ловила себя на мысли, что ненавидит все на свете, включая всеобщее начальное образование, защитницей которого ей полагалось выступать.

Пройдя через ад промежуточных вариантов (которых на этот раз набралось пять штук), Клавдия Петровна поняла, что текст стал потихоньку выстраиваться, освобождаясь от шелухи лишних слов, неудачных эпитетов и дурно выстроенных периодов. Где-то в лесу стреляли охотники, по озеру плыла лодка – Бирюковой не было до них дела: она работала с увлечением, и зачеркивания, которые ей время от времени приходилось делать, теперь уже не раздражали ее, потому что каждое приближало ее к заветной цели.

«Еще несколько страниц, и можно считать, что первоначальный вариант готов... А редактор наверняка скажет, как и в прошлый раз, что моя статья суховата, хоть и по сути верна. Знал бы он, каким трудом мне дается то, что он называет сухостью!»

Но как раз тогда, когда текст, устаканившись, плавно катился к завершению, в планы Клавдии Петровны самым бесцеремонным образом вторглась жизнь. За дверью зашаркали знакомые шаги, и в комнату протиснулась лохматая голова поэта Свистунова.

– Клавдия Петровна... Ты работаешь? Я тебе помешал?

Сидящая у окна дама потеряла нить мысли и подняла голову. Будь она иначе воспитана, она бы с раздражением подтвердила, что посетитель, который даже не соизволил постучаться, помешал, причем сильно. Но так как поэт был ее гостем – и к тому же родственником, – хозяйка дома не без труда вызвала на лицо любезную улыбку.

– Нет, Николай Сергеевич, я уже заканчиваю...

«Ну что ему стоило прийти через полчаса? Весь настрой сбил! О, боже мой, боже мой...»

– А я думаю, почему еще обед не подали, – простодушно молвил поэт, правой рукой машинально расчесывая свою редкую бороду.

– А который теперь час? – рассеянно спросила Клавдия Петровна, собирая листки. По ее распоряжению все часы из этой комнаты убрали, чтобы их назойливое тиканье не отвлекало хозяйку от работы.

– Уже пятый.

– Ах, боже мой!

– Ну, как говорят, счастливые часов не наблюдают...

– Да какое тут счастье, – вздохнула Клавдия Петровна, поднимаясь с места. – Пойдем, я распоряжусь насчет обеда... В столовой или на террасе?

Но в большой мрачноватой столовой оказалось в этот час слишком душно, и было принято решение перенести обед на террасу, откуда открывался вид на соседский лес, принадлежавший Ергольскому.

– А я сегодня Пушкина перечитывал, – сообщил Николай Сергеевич, когда с первым и вторым блюдами было покончено. – Переоценивают нашего Александра Сергеевича, ой как переоценивают. Некоторые стихи у него совсем никуда не годятся. Чего стоит хотя бы это:

Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой⁴.

Свистунов сделал значительную паузу, которую употребил на то, чтобы шумно отхлебнуть квасу, и, сощурив свои карие глаза до того, что они стали напоминать крохотные щелочки, продолжал:

– Это он о винограде, не угодно ли? Во-первых, что за злачная долина такая, ведь понятно же, что хорошее место злачным не назовут. И во-вторых, где он мог видеть деву, чьи пальцы похожи на виноград? Вот вы, Клавдия Петровна, как человек, тонко чувствующий искусство, можете мне объяснить?

На перила террасы села серо-черно-белая хлопотливая птичка – трясогузка, деловито пробежала по ним, вертя хвостиком, и взмыла в воздух. Клавдия Петровна вздохнула. Она не слишком жаловала Пушкина – во-первых, из-за его беспорядочной личной жизни, которую не одобряла, а во-вторых, потому, что считала, что поэт такого масштаба должен был осознавать, что принадлежит не себе, а народу, и не имел права драться на дуэли. Но сейчас дело было вовсе не в Пушкине, а в том, что собеседник ее раздражал. И не только потому, что из-за какого-то глупого обеда помешал ей закончить статью, но и потому, что сидел, развалившись, в несвежей рубашке, и по волосам и бороде было видно, что он давно не стригся. И Клавдия Петровна с ностальгией вспомнила вчерашний вечер, когда все мужчины (кроме опять-таки поэта) были корректно одеты, не во фраках, конечно, но чувствовалось, что внешний вид для них не пустой звук.

– «Злачный» раньше означало «полный злаков, изобильный», – сказала она в ответ на слова Свистунова. – Посмотрите в словаре, по-моему, и в нашей губернии до сих пор кое-где используют это слово в прежнем смысле.

– Но персты, Клавдия Петровна, персты девы как виноград! Откуда он их взял? Ведь любому понятно, что образ совершенно никуда не годится!

⁴ Свистунов цитирует стихотворение «Виноград».

– А чему вы удивляетесь? – пожала плечами хозяйка дома. – Это же Пушкин, разве он может обойтись без женщин?

Николай Сергеевич открыл было рот, чтобы сказать что-то, но передумал и взял с тарелки еще одно пирожное.

– Нет, еще не надо убирать со стола, – сказала Клавдия Петровна, поворачиваясь к горничной, которая только что показалась на террасе. – Можешь идти, мы позовем.

– Клавдия Петровна, – растерянно сказала девушка, – я не поэтому... Там... там к вам следователь пришел. Игнатов Иван Иванович, – выпалила она и умолкла.

Поэт застыл на месте, и его рука с недоеденной половинкой вкуснейшего шоколадного пирожного замерла в воздухе.

– Очень замечательно, – пролепетала Клавдия Петровна первое, что ей пришло на ум; и, конечно же, вышло нелепо. – Значит, следователь? Он сказал, зачем хочет меня видеть?

– Вас и Николая Сергеевича, – сказала горничная, часто-часто мигая. – Он сказал, что все вам объяснит.

Свистунов очнулся, машинально положил недоеденное пирожное на тарелку, сгорбил и заерзал на стуле, повернувшись боком к столу. Он явно трусил, и это окончательно вывело Клавдию Петровну из себя.

– Игнатов, или как там его, – скомандовала она, поправляя пенсне, – зови его сюда! Нам нечего скрывать от властей, – добавила передовая дама язвительно, возвышая голос.

Горничная удалилась, оставив после себя ослепительную пустоту со знаком вопроса, которая целиком поглотила мысли мужчины и женщины, оставшихся на террасе. Николай Сергеевич думал: «Вот ведь штука! Следователи просто так в гости не являются... быть беде, как пить дать! Или мы вчера чего-то за ужином наболтали не того? Ох, как нехорошо... Или дорогая кузина Клавдия по глупости вляпалась во что-то антиправительственное? Она же домашняя курица, ей бы с детьми нянчиться да носки вязать, а вместо этого...»

Клавдия Петровна тем временем размышляла: «О чем бы меня ни спрашивали, я сразу же дам понять, что отвечать не буду... Если что, потребую адвоката! Если у меня нет мужа, это не значит, что меня можно притеснять... Но следователь... Он же станет обыскивать дом... Отберет мои бумаги...»

– Добрый вечер, – прогудел незнакомый приятный баритон, и Клавдия Петровна подняла глаза.

Будем откровенны: она была бы не прочь увидеть старого служаку с пронизывающим взором, должностного сухаря и личность вообще неприятную, которую можно с легкостью возненавидеть всей душой. Но, к удивлению хозяйки дома (и к немалому облегчению ее родича), посетитель оказался молодым еще человеком, темноволосым и сероглазым, который, вероятно, лишь недавно окончил университет. Если бы вы встретили Игнатова где-нибудь в вагоне поезда или в гостиной у знакомых, вам бы никогда в голову не пришло, что перед вами следователь. Никакого пронизывающего взора тут не было и в помине, напротив – даже очень внимательный наблюдатель увидел бы только чистенького, обыкновенного и ничуть не устрашающего молодого человека. Весь он был какой-то мягкий на вид, какой-то неопределенный, но – открою один секрет – опрометчиво было бы делать из этого вывод, что перед вами человек-тряпка. У Ивана Ивановича была очень приятная улыбка, располагающая к себе, но мало кто на свете догадывался, что улыбка эта – всего лишь часть облика, призванная усыпить бдительность собеседников. Сейчас Игнатов улыбался именно такой улыбкой, и весь его вид словно говорил: «Простите, я нахожусь тут не по своей воле, я не задержу вас надолго, и вообще, знаете, можете совершенно не принимать меня всерьез, только не показывайте этого открыто, хорошо?» В руке вновь прибывший держал небольшой черный портфель.

– Игнатов Иван Иванович, – представился гость, – а вы, как я понимаю, Клавдия Петровна Бирюкова, владелица имения? – Поклонившись ей, он повернулся к поэту: – Ну а вы, конечно, Николай Сергеевич Свистунов. Очень, очень хорошо, что я вас застал... Надеюсь, вы сумеете пролить свет на некоторые обстоятельства дела, – добавил он и очень, очень внимательно посмотрел сначала на Клавдию Петровну, а затем на притихшего поэта.

– Простите, – начала хозяйка дома, – но о каком именно деле идет речь?

Улыбка гостя слегка померкла.

– А вы разве не знаете? Нет? Я думал, в наших краях новости распространяются быстро... Ну что ж, тем лучше, – неизвестно к чему бодро заключил следователь. – Вы не предубеждены, и свежий взгляд – это всегда важно... да-с... Мне придется задать вам несколько вопросов, и я хотел бы услышать как можно более точные ответы.

Именно этих слов и ждала Клавдия Петровна, чтобы перейти в атаку.

– Милостивый государь, – пропыхтела она, – но для начала... простите, мы хотели бы все-таки понять, о чем идет речь... Вы врываетесь в дом к честным людям... мы, как видите, мирно ужинали, не предполагая ничего такого...

На перила террасы сел воробей, покосился на следователя маленьким круглым глазом, чирикнул и исчез. Очевидно, воробей тоже не питал особой любви к представителям закона.

– Я надеюсь, Клавдия Петровна, вы не предполагаете, что я по своей воле осмелюсь тревожить почтенных и уважаемых людей, – спокойно ответил следователь, голосом подчеркнув слова «почтенных» и «уважаемых». – Поверьте, сударыня, что только интересы дела привели меня сюда, причем дела... скажем прямо, не слишком приятного... – он слегка поморщился. – Если вы не возражаете, я хотел бы сесть. Так нам будет удобнее... гм... беседовать, тем более что мне придется записывать ваши ответы...

Вот, начинается, мелькнуло в голове у поэта. Дернул же его черт сочинить в Петербурге матерные частушки про сами знаете кого, да еще во весь голос распевать их в малознакомой компании. И частушки-то вышли дрянные, – хотя, с другой стороны, будь они совсем никуда не годны, разве стали бы его искать в глухом углу Российской империи? Ясное дело, донесли на него куда следует, небось еще в двух экземплярах, подлецы, и теперь пострадает он за свободомыслие, раздавит его самодержавие своей каменной пятой. На роду ему было написано стать мучеником и борцом за свободу, – и, предвкушая ожидающие его лишения (фотографы наверняка будут снимать процесс, защитник произнесет яркую речь, но кого же взять защитником? и откуда у него вообще деньги на защитника?), Николай Сергеевич гордо расправил плечи. С чувством, похожим на нетерпение (интересно, сошлют ли его? и если сошлют, то куда?), он ждал продолжения, но его не последовало. Посетитель отодвинул плетеное кресло, стоявшее на террасе на случай визита гостей, устроился на нем и теперь возился с застежкой портфеля. Клавдия Петровна буравила Игнатова взором, полным тысячи невысказанных подозрений, но следователь, казалось, совершенно ничего не замечал. Он достал из портфеля папку и вынул из нее чистый лист, после чего извлек из портфеля чернильницу и ручку.

– Прежде всего, – начал следователь, – я хотел бы спросить вас о вчерашнем вечере. Вы оба были в гостях у Матвея Ильича Ергольского, верно?

– Не вижу смысла этого отрицать, – сухо сказала Клавдия Петровна. Гость, едва заметно улыбнувшись, сделал на листке короткую заметку.

– Кто еще находился в доме?

Поэт прочистил горло. (Знаем, знаем мы все ваши подлые уловки, но коли уж вам так хочется пробираться к цели окольными путями, то извольте!) – За столом были Матвей Ильич и его жена Антонина Григорьевна, замечательная женщина... Затем актриса Панова, ее муж Анатолий Петрович Колбасин, их сын, приятель сына, затем, гм, знакомый актрисы...

– Актер Ободовский, – проворчала Клавдия Петровна.

– Да, он... Еще были промышленник Башилов с дочерью – они живут неподалеку, журналист Чаев и мы двое. Все...

– Больше никого? Может быть, вы заметили кого-нибудь еще, в саду или в доме, кто мог бы слышать вашу беседу?

– Все зависит от того, считаете ли вы прислугу людьми, – воинственно бросила Клавдия Петровна. – Ты забыл о слугах, Николай Сергеевич...

– Скажите, а слуги могли слышать разговоры, которые вели гости?

Клавдия Петровна насторожилась. Ей не нравилось, что она никак не могла сообразить, к чему клонит посетитель, и она была склонна предполагать самое худшее.

– Гм... Полагаю, вполне могли... почему бы и нет?

– Зачем им это? – возразил поэт. – Вряд ли их заинтересовало бы, что мы думаем об интел... А-а!

Не утерпев, Клавдия Петровна пнула его под столом ногой, но не рассчитала силу и лягнула поэта слишком сильно. Следовательно, впрочем, сделал вид, что ничего не заметил.

– Да, мне сказали, что разговор шел об интеллигенции, – проговорил Игнатов, – а потом? Что было потом?

– Да всякие глупости, – проворчал поэт. Морщась, он пытался незаметно растереть ушибленную родственницей ногу. – Зашла речь об убийстве, о том, кого и как можно убить, и Матвей Ильич напридумывал всяких ужасов, чтобы нас поразить.

– Мне нужны подробности, – тихо сказал следователь.

– Нашего разговора? – вскинулась Клавдия Петровна. – Это был частный обмен мнениями о том, что такое интеллигенция, и...

– Я не об этом. Что именно господин Ергольский говорил вчера об убийствах?

Тут, по правде говоря, его собеседники озадаченно переглянулись, а поэт ощутил нечто странное. Он внезапно понял – хотя никаких доказательств тому представить не мог, – что молодой следователь явился к ним в дом вовсе не по его душу. Стало быть, не будет ни суда, ни пламенной речи защитника, словом, ничего. И Николай Сергеевич – человек, в общем-то, простой – чувствовал себя сейчас как пианино, на котором пытаются играть разом и вразброд несколько персон, только вместо этих людей были чувства, которые он испытывал: облегчение от того, что ему ничего не будет, смутный стыд из-за этого облегчения, сожаление о всероссийской (чем черт не шутит) славе, которая в очередной раз прошла мимо него, и не в последнюю очередь – живейшее любопытство.

В самом деле, если вся каша заварилась не из-за него, то из-за кого же?

– Вам должно быть известно, что Матвей Ильич – писатель, – воинственно бросила Клавдия Петровна. – Вчера он шулки ради расписал, как и за что любого из присутствующих можно убить. Про меня, например, выдумал совершенно фантастическую историю, будто на моей земле есть золото, и из-за него мне угрожает опасность. О Николае Сергеевиче сказал, что тот только притворяется поэтом, а на самом деле он наследник какого-то престола, и за ним охотятся убийцы. Меня, кстати, по его версии, должны были удушить. Госпожа Панова просила, чтобы ее не удушили, а придумали что-нибудь поинтереснее, так ее он застрелил в гостиной... то есть описал, как она лежит в гостиной мертвая...

– Очень любопытно, – бесстрастно уронил следователь. – И по какой же причине ее должны были лишиться жизни?

Причину Клавдия Петровна запомнила, но поэт вспомнил: театральные интриги! Будто бы у Пановой была соперница, которая поклялась сжить ее со света...

– Скажите, – спросил Игнатов, – а Матвей Ильич упоминал, где именно должно было произойти убийство?

– В роскошно обставленной гостиной, – фыркнула Клавдия Петровна. – С персидским ковром на полу... Она лежит в кресле... А застрелить ее должны были из револьвера с перламутровой рукояткой.

– Вот оно, значит, как, – уронил следователь. – То есть вы подтверждаете, что тоже слышали эту историю?

И тут Клавдия Петровна не выдержала.

– Может быть, милостивый государь, – с неудовольствием промолвила она, – вы все же объясните нам, что случилось? Ведь не может же быть такого, чтобы вы, взрослый человек на государственной службе, пришли сюда только для того, чтобы выпрашивать у нас всякие глупости...

– Боюсь, сударыня, это вовсе не глупости, – вздохнул следователь, потирая висок. – Вчера, возможно, они еще могли казаться таковыми, но сегодня, после того, что случилось, – уже нет.

– Так что все-таки случилось? – спросил поэт, горя любопытством.

– Убийство. Сегодня днем кто-то пробрался в дом, где находилась госпожа Панова, и застрелил ее. Точь-в-точь так, как вчера вам описывал господин Ергольский. И вы должны согласиться, что это никак не может быть простым совпадением.

Глава 4. Руки в карманах

– Ой, – сказал поэт. И вслед за тем взял непечатое шоколадное пирожное и, поглядев на него с недоумением, съел его целиком.

– Вы шутите? – пролепетала Клавдия Петровна, глядя на гостя. – Вы... вы не шутите?

– Зачем же мне шутить? – степенно отозвался Игнатов. – Убийство – вещь серьезная, и ничего смешного тут нет.

– У меня в голове не укладывается, – потерянно молвила передовая дама. – Николай!

– А?

– Этого ведь не может быть? Я хочу сказать, гостиная... персидский ковер... Револьвер с перламутровой рукояткой!

– К сожалению, сударыня, – вмешался Игнатов, – все детали были соблюдены очень точно, вплоть до револьвера.

– Но откуда он взялся?

– Возможно, он находился в доме. Впрочем, мы занимаемся этим вопросом.

– А... – Клавдия Петровна собралась с духом. – А она не могла покончить с собой?

– Евгения Викторовна? – изумился следователь. – И зачем же ей было это делать?

– Не знаю, – мрачно промолвила Бирюкова. – Чтобы... ну... чтобы насолить кому-нибудь, к примеру.

Но она уже и сама поняла, что ее версия никуда не годится, и рассердилась на себя.

– Скажите, – очень серьезно спросил Игнатов, – вы действительно считаете, что госпожа Панова была способна на самоубийство?

– Я не знаю, – отозвалась Клавдия Петровна, морщась. – Не думаю. Но я не настолько хорошо знала ее, чтобы... И вообще...

«Да нет, все это вздор, – смутно помыслил поэт. – Прихлопнули ее, как пить дать прихлопнули. Или муж, которому осточертели ее шуры-муры, или любовник, который хотел от нее избавиться, или сын, который даже не хотел смотреть на нее за ужином... все время отворачивался... А в конце концов все постараются свалить на Ергольского. Ведь это он придумал, как ее будут убивать... Ну и поделом ему, – не слишком логично заключил Николай Сергеевич. – Живет себе припеваючи, как сыр в масле катается, в Петербурге его тексты ждут редактора, и мало того, что печатают, ему за его чепуху еще и деньги платят... нет, чтобы обратить внимание на настоящего поэта, такого, как я...»

– Поскольку госпожа Панова была убита именно так, как говорил господин Ергольский, сам собой напрашивается вывод: убийцей является один из тех, кто слышал его рассказ, – говорил тем временем следователь. – Или же человек, которому кто-то из присутствующих пересказал подробности – такое тоже возможно. Скажите, вы говорили с кем-нибудь о том, что было вчера за ужином? Обсуждали, так сказать, версии убийства... или нет?

Однако оба его собеседника могли с чистой совестью ответить отрицательно. Вчера вечером они вернулись домой. Нет, ни с кем из посторонних они ничего не обсуждали.

– Допустим, что так и было. Теперь я прошу вас хорошенько подумать, прежде чем ответить. Кто именно из слуг присутствовал при разговоре и мог слышать рассуждения господина Ергольского об убийстве?

– Да это было уже после ужина, – поморщился поэт. – Почти все со стола уже убрали, оставили только тарелку с хлебом и пару графинчиков, с водкой и наливкой.

– Не припомню, чтобы во время нашей беседы об интеллигенции и убийствах кто-то из слуг был в комнате, – поддержала его Клавдия Петровна.

– Хорошо. А как быть с садом? Мог ли кто-то, стоя в саду, слышать господина Ергольского? Может быть, вы кого-нибудь там видели?

Клавдия Петровна покачала головой.

– Боюсь, что нет... Я вообще сидела спиной к окну.

– Я тоже, – сказал поэт.

– И ни разу не смотрели в окно? Хотя бы машинально? – допытывался Игнатов.

Николай Сергеевич вздохнул.

– Может быть, я пару раз оглянулся, от нечего делать... Но должен сразу же вам сказать, что никого в саду я не видел.

– Что ж, это упрощает дело, – заметил Игнатов. – Тогда вопрос звучит совсем просто: кто?

– Простите? – изумился поэт.

– Кто, по-вашему, мог ее убить? Каковы ваши предположения? Вы более или менее близко знаете всех, кто был вчера на вечере. Если верить вам, прислуга и посторонние исключаются. Так кто из тех, кто был тогда в гостиной, мог совершить преступление?

– Полагаю, ваша работа заключается именно в том, чтобы это установить, – не удержалась Клавдия Петровна. – Я имею в виду все эти штуки, о которых пишут в романах... Алиби, свидетелей и прочее.

– Прекрасно, тогда займемся вашим алиби, – с легкостью согласился следователь. – Так где вы были сегодня, начиная с полудня?

– Я писала статью, – сухо сказала Клавдия Петровна. – В кабинете. Села работать после завтрака и так увлеклась, что не заметила, как наступил вечер.

– Кто-нибудь может это подтвердить? – невинно поинтересовался Иван Иванович, и уже по интонации его вопроса стало ясно, что молодой человек далеко не так прост, как кажется.

– Что? – изумилась хозяйка дома. – Конечно, нет! Но я же говорю вам, что находилась здесь!

– Боюсь, я не могу полагаться только на ваши слова, – кротко промолвил следователь, и глаза его блеснули. – А вы, Николай Сергеевич, где находились?

По словам поэта, он был у себя в комнате, где читал Пушкина.

– С полудня и до вечера? – вкрадчиво поинтересовался посетитель.

– Пушкина можно читать часами! – парировал поэт, покраснев. – Впрочем, сейчас я припоминаю, что в разгар жары вздремнул на пару часов...

– Значит, у вас тоже нет алиби, – пожал плечами Игнатов.

– Если судить по-вашему, то нет, – проворчал Свистунов, – но мотив? Какой у меня или Клавдии Петровны мог быть мотив для убийства? Воля ваша, но это просто нелепо!

– Возможно, я разочарую вас, – мягко заметил следователь, – но люди веками ухитряются убивать друг друга даже без особых мотивов, к примеру, только из-за того, что жертвы живут в другом месте или говорят на другом языке... – Он внимательно посмотрел на своих собеседников. – Могу я взглянуть на комнаты, в которых вы, по вашим словам, находились?

В спальне поэта Иван Иванович мельком взглянул на растрепанный том Пушкина, бросил взгляд на окно и попросил провести его в кабинет Клавдии Петровны. Вид, открывавшийся оттуда, заинтересовал следователя куда больше.

– Так вы уверяете, что с утра сидели здесь...

– Да, именно так.

– Вам случалось выглядывать в окно? Может быть, вы видели кого-нибудь, кто подходил к дому за озером? Или заметили что-нибудь необычное?

– Видите ли, – с достоинством промолвила Клавдия Петровна, поправляя пенсне, – я работала, поэтому у меня не было времени следить, кто куда идет...

– Да, я понимаю.

– Да. Конечно, иногда я прерывалась и... ну... машинально смотрела в окно... Помню, на озере была лодка, но я не присматривалась, кто там сидит.

– Когда это было?

– Не помню. Было жарко... После полудня, наверное, – точнее я сказать не могу.

– Вы не смотрели на часы?

– В этой комнате их нет.

– Больше вы ничего не заметили?

Клавдия Петровна заколебалась.

– Были какие-то звуки, похожие на выстрелы. Я решила, что это охотники...

– Вы слышали звуки до того, как увидели лодку, или после?

– Кажется, до.

– Сколько именно выстрелов вы запомнили?

Хозяйка дома задумалась.

– Три. Нет, четыре. Один, потом еще два. И потом еще один, где-то вдалеке.

– Вы могли бы поручиться, что звук шел из леса? Или, может быть, с другой стороны?

– Я не прислушивалась, – проворчала Клавдия Петровна. – Для меня это был... ну... обыкновенный шум...

– А вы слышали что-нибудь? – повернулся следователь к Свистунову.

– Боюсь, что нет, – отозвался поэт. – Мои окна выходят на другую сторону. И потом, я же сказал вам, что спал несколько часов...

– Хорошо. Тогда, с вашего позволения, подведем итоги. Разумеется, вы оба никого не убивали. Вы, Николай Сергеевич, ничего не видели, не слышали и понятия не имеете о том, кто мог убить Евгению Викторовну Колбасину, сценический псевдоним Панова. Вы, Клавдия Петровна, видели какую-то лодку на озере, а до того слышали четыре выстрела, один из которых, возможно, доносился из дома напротив...

Тут Николай Сергеевич не выдержал.

– По-моему, их усадьба все-таки далековато от нас, чтобы Клавдия Петровна могла услышать выстрел, произведенный в гостиной, – проворчал он.

– Окно, выходящее на озеро, было открыто. И над водой звуки разносятся очень хорошо.

Тут передовая дама и ее родственник переглянулись и почему-то немного побледнели. Вплоть до нынешнего момента вся история казалась абсурдной, какой-то театральной и к тому же – будем откровенны – немного фальшивой; но открытое окно и выстрел, далеко разнесшийся над водой, на которой мирно покачивались кувшинки, почему-то прибавили происшедшему реальности. Убийство действительно случилось, и с ним приходилось считаться. Но кто же решился воплотить в жизнь фантазию плодовитого беллетриста? Кто?

– Если вы знаете что-то еще, – проговорил следователь, переводя взгляд с поэта на присмирившую Клавдию Петровну, – или даже не знаете, но вам кажется, что подозреваете, вам лучше сказать мне все как есть. Вы должны понимать, что в делах такого рода под подозрением могут оказаться невинные люди, и чтобы этого не произошло, я должен быть в курсе всего, что вам известно.

Он замолчал. Молчали и его собеседники.

– Это он ее убил, – решила Клавдия Петровна. – Ее любовник.

– Иннокентий Ободовский?

– А, так вы уже все знаете? Ну, тем лучше. Только если вы спросите, какие у меня доказательства, я вам сразу же скажу: никаких. Просто он держал руки в карманах, вот и все.

– О чем это вы? – изумился следователь.

– Да вчера, когда мы все уезжали от Ергольского, Клавдия Петровна обратила внимание, – вмешался поэт. – Панова думала, что ее никто не видит, улучила момент и буквально

повисла на шее у актера. Она его обнимала, всем телом к нему прильнула, а он руки в карманах держал, понимаете? Не нужна она была ему, не любил он ее совсем.

– Я бы не удивилась, если бы он решил от нее избавиться таким образом, – прогудела Клавдия Петровна. – Понимаете, то, что описал Матвей Ильич... если оно действительно именно так произошло, это же театрально до ужаса. Перламутровые рукоятки, персидские ковры, роскошные гостиные... Какая-то мизансцена, честное слово! Конечно, тут поработал человек театра...

– Ну так Анатолий Петрович Колбасин – известный режиссер, – мягко напомнил следователь. – Почему же вы думаете, что это был не он, а именно Ободовский? В конце концов, актеру достаточно было уйти от Евгении Викторовны, чтобы от нее избавиться, в то время как у Анатолия Петровича мотив более весомый...

– А ведь совсем недавно вы говорили, что человеку и не надо особого мотива, чтобы прикончить своего ближнего, – не удержался от колкости поэт. – Да и какой мотив у Колбасина, в самом деле? Что жена ему изменяла? Вы уж простите меня, но я сильно сомневаюсь, что этот Ободовский был у нее первым любовником... а раз так, Анатолий Петрович давно должен был привыкнуть к своему, гм, положению...

– Значит, все-таки любовник? – настойчиво спросил Игнатов.

– А больше просто некому, – с достоинством отозвалась Клавдия Петровна. – Конечно, когда Матвей Ильич развивал свои теории насчет убийств, его слушали десять человек, не считая жертвы. Кого еще можно подозревать? Сам Матвей Ильич и его жена, безусловно, вне подозрений, это абсолютно приличные люди. Их друг господин Чаев – тоже. Башилов и его дочь встретили Панову только в доме Ергольского, как выяснилось за ужином, прежде они ее не знали. Я и мой брат никого не убивали, потому что находились здесь, верите вы в это или нет. Сын Пановой явно не был в восторге от ее поведения, но взять револьвер и убить родную мать – нет, это просто немыслимо. Его приятель Серж все время переглядывался с Натали Башиловой, и, конечно, мать его друга интересовала его меньше всего на свете... Так что, с какой стороны ни посмотри, у вас только двое подозреваемых: муж и любовник. – Клавдия Петровна перевела дыхание. – Я не верю, что это был Анатолий Петрович – хотя бы по тем причинам, которые вам только что изложил Николай Сергеевич. Наконец, он просто не такой человек, чтобы хладнокровно застрелить свою жену и... и обставить все, как театральную мизансцену... Нет, как вам угодно, но для такого нужен совсем другой характер. Нужен, знаете ли, такой молодой цинизм... и меня вовсе не удивит, если этот Ободовский постарается все свалить на Матвея Ильича...

– Почему? Разве у господина Ергольского была хоть малейшая причина желать зла госпоже Пановой?

– Нет, конечно, причин никаких не было, но вы же понимаете... Все эти истории с убийствами вчера придумал именно он, и когда людям станет известно... Мало ли что они будут говорить...

– Вы хотели бы что-то добавить? – учтиво осведомился следователь, заметив тень иронической усмешки, которая несколько раз проскользнула по губам поэта в то время, как его родственница говорила.

Свистунов насупился.

– Добавить? Ну, если вам так угодно... Только на вашем месте я бы не исключал и сына.

– Николай Сергеевич! – возмутилась передовая дама.

– Сами знаете, какова нынешняя молодежь, – объявил поэт, глумливо ухмыляясь. – Никаких идеалов, полное отрицание всего и вся. Так что лично я бы не удивился, если бы узнал, что Павлуша Колбасин нашел где-то в доме револьвер и того, пустил его в дело, вдохновленный рассказом этого бумагомака...

– Глупости ты говоришь, ей-богу, – решительно промолвила Клавдия Петровна. – И Павлуша, и Серж – совершенно приличные молодые люди. – Тут она увидела совершенно неотразимый довод и не замедлила броситься в атаку: – Ты сам, по-моему, начитался романов Ергольского, если так легко можешь предположить, что Павлуша убил свою мать...

– Я? Да чтобы я читал его книги? – фыркнул поэт. – Еще чего не хватало!

– А кто у меня выпрашивал журнал с продолжением его повести? – напомнила злопаятная Клавдия Петровна. – Кто говорил, что это-де чепуха ужасная, но сам он ни за что не уснет, пока не узнает, чем все закончилось?

Николай Сергеевич мученически закатил глаза и стал многословно все отрицать, затем нечувствительно скатился к оправданиям, а затем сознался, что читал Ергольского только раз, – не считая нескольких предыдущих, – и остальных, которые не в счет, потому что его романы забываются сразу же после прочтения, – а так Матвей Ильич все равно не писатель. Иван Иванович терпеливо слушал, не вмешиваясь в разговор. «Однако любопытные на этот раз попались свидетели... Дама мыслит весьма хаотически, но руки в карманах заметила именно она. Ее родственник, похоже, человек более реалистичного склада, но, как всякий эгоист, не видит ничего, что не относилось бы к нему лично. Да, трудное, трудное будет дело...»

Наконец спорщики уgomонились и, вспомнив о присутствии следователя, повернулись к нему.

– Если вы не возражаете, я бы хотел вернуться на террасу, – сказал Игнатов. – Или можем перейти в гостиную. Я заполню протокол, вкратце пересказав в нем суть нашего разговора, а вы его подпишете.

– А вы разве уже не записали все, что вам надо? – удивился поэт. – Вы же все время что-то писали, я видел...

– Нет, это заметки для себя, а сейчас мы заполним бумаги по всей форме. Так полагается.

Клавдия Петровна смутно подумала, что заполнение бумаг займет много времени, но возражать не посмела. Все трое вернулись на террасу, где следователь присел к столу и, задав несколько уточняющих вопросов о возрасте, сословии и вероисповедании собеседников, своим мелким, стремительным, но тем не менее весьма разборчивым почерком заполнил две страницы – по одной на каждого свидетеля.

– Прошу вас внимательно все прочитать и подписать, если вы согласны с написанным, – промолвил Иван Иванович, на глазах вновь превращаясь в обыкновенного молодого человека, который тут только по долгу службы и который и в мыслях не имел никого беспокоить.

Признаться, если бы передовая дама нашла в тексте орфографическую ошибку или хотя бы запятую, которая стояла не на своем месте, она бы не преминула указать посетителю на его оплошность; но все буквы и знаки препинания стояли там, где надо, и Клавдия Петровна поневоле заключила, что следователь Игнатов знает свое дело и знает его хорошо. Что касается Николая Сергеевича, то он пробежал глазами строки и подписался, не вступая ни в какие пререкания.

Только возвращая следователю подписанные показания, хозяйка дома спохватилась, что не спросила у него самого главного.

– Скажите, – проговорила она, волнуясь, – вы уже арестовали Ободовского?

– Это будет затруднительно, – спокойно отозвался Игнатов, пряча листки в папку и убирая ее в портфель. – Видите ли, против Иннокентия Гавриловича пока нет никаких улик.

И, оставив своих собеседников осмысливать это сногшибательное заявление, он вежливо поклонился на прощание и удалился.

Кучер ждал его у крыльца. Старая белая лошадь, запряженная в двуколку, помахивала хвостом, отгоняя мух.

– К Матвею Ильичу Ергольскому, – распорядился Игнатов, заняв свое место в двуколке. Кучер хлестнул лошадь, застучали колеса, и обветшалый помещичий дом, окруженный вековыми деревьями, стал медленно уплывать прочь.

Глава 5. Хлопоты и неприятности

Сейчас, пожалуй, самое время вывести на сцену новое лицо, которое до поры до времени держалось в тени. Лицом этим является не кто иной, как управляющий усадьбой «Кувшинки», Франц Густавович Юнге.

По рождению Франц Густавович был австриец, но в России его так часто называли немцем, что он однажды перестал спорить, справедливо сочтя, что время, потраченное на уточнение его национальности, можно с куда большей пользой потратить на что-нибудь другое. Для него Вена была лучшим городом на свете, венские пирожные – самыми вкусными пирожными в мире, и, само собой, никто не мог сравниться с австрийскими композиторами. Как так могло случиться, что судьба занесла его в Россию, где он жил уже второй десяток лет, он сам затруднился бы объяснить. Причем все та же судьба, которая словно нарочно выбирала для нашего героя самые прихотливые пути, заставила его сначала побыть музыкантом какого-то мелкого оркестра, потом учителем музыки, потом учителем немецкого, бухгалтером, снова учителем, на сей раз латыни, и в конце концов – управляющим. К чести Франца Густавовича стоит отметить, что со всеми своими профессиональными обязанностями он справлялся безупречно и что, если бы судьбе угодно было назначить его поваром, министром или главнокомандующим, он бы и тут не ударил в грязь лицом.

Впрочем, в данный момент он был всего лишь управляющим одного из имений богатой дамы, которую звали баронессой Корф. Устав воевать с предыдущим управляющим, который жил по принципу «не украдешь – не проживешь», она уволила его и наняла Франца Густавовича, который навел порядок, по первому требованию хозяйки представлял ей образцовые счета и вообще поставил дело настолько хорошо, что уже на второй год ему прибавили зарплату. Франц Густавович, который был уже мужчиной на пятом десятке с женой и тремя детьми, приободрился и понял, что еще несколько лет службы в «Кувшинках», и он сможет вернуться в Вену, где будет жить не то чтобы припеваючи, но вполне себе безбедно. Увы, но, судя по всему, его планы шли вразрез с намерениями его затейливой судьбы, и она задумала подставить ему ножку.

Началось все, как водится, с мелочей – хозяйка известила управляющего, что проведет лето в другом месте и «Кувшинки» ей не понадобятся. Франц Густавович, который со своей семьей занимал просторный флигель, подумал о том, что дом будет пустовать, то есть стоять без пользы и не приносить никого дохода, и закручинился. Логичнее всего было бы его сдать на лето, и управляющий решил немедленно этим озаботиться.

Ах, Франц Густавович, Франц Густавович! Не стоило вам искать постояльцев, не надо было превращать «Кувшинки» в наемную дачу, не... Но что толку теперь говорить об этом?

Одним словом, после недолгих переговоров и выплаты задатка в усадьбу въехала семья Колбасиных со своими друзьями, и тут один за другим пошли сюрпризы. Для начала глава семьи, хоть и честный мещанин по паспорту, оказался на самом деле театральным режиссером, но само по себе это ничего не значило. Гораздо хуже то, что его жена была актрисой, и мало того, что она притащила с собой любовника – вместе с ней в старый барский дом словно влилась удушливая театральная атмосфера, полная склок и интриг. Евгения Панова капризничала, тиранила прислугу, поссорилась с кухаркой и в конце концов добила того, что почти все слуги либо отказались иметь с ней дело, либо попросили расчета.

Все это «безобразие» (по словам Франца Густавовича) продолжалось чуть меньше месяца, и он уже не мог дожидаться августа, когда неприятные постояльцы должны были убраться восвояси. Однако как бы он ни относился к Пановой, управляющий был все же ошеломлен, когда однажды днем, зайдя в гостиную, обнаружил в кресле ее труп. Возле правой руки актрисы на ковре поблескивал маленький серебристый револьвер с отделанной перла-

мутром рукаюткой. Против сердца по светлой ткани платья расплылось небольшое красное пятно.

Как помнит читатель, Франц Густавович в одной из своих прошлых жизней был музыкантом. В этом своем качестве он немало общался с актерами и знал, что от них можно ожидать всякого. Поэтому для того, чтобы исключить неуместный розыгрыш, он первым делом взял левую руку актрисы и попытался прощупать пульс. Но, хотя рука была еще теплая, каким-то непостижимым чутьем управляющий понял, что это уже не тепло жизни.

Он окинул взглядом комнату, машинально отметил, что окно, выходящее на красивейшее озеро, на поверхности которого безмятежно покачивались розовые кувшинки, распахнуто настежь, и быстрым шагом вышел. Его жена была на кухне, отдавала указания новой кухарке, которая готовила старательно, но не всегда умело, и поэтому за ней нужен был глаз да глаз.

– Эльза, – сказал управляющий по-немецки, – мне нужны ключи от обеих дверей гостиной на первом этаже.

Все ключи хранились у его жены, и она, хоть и несколько удивилась, тем не менее отдала ему то, что он просил.

– Ты хочешь попробовать замки? – спросила она. – Я проверяла все ключи, когда мы только приехали сюда, и смазывала замки, но вряд ли это тебе поможет. Они очень старые, и потом, те двери давно никто не запирал.

– Эльза, – вздохнул Франц Густавович, – ты просто чудо! Скажи, сколько сейчас времени?

– Два часа... нет, уже четверть третьего. А что?

– Пока ничего, – уклончиво ответил управляющий.

Он вернулся в гостиную, и, убедившись, что за время его отсутствия ничего не изменилось, закрыл окно и не без труда запер обе двери. После чего послал одного из сыновей за доктором, а сам поехал на ближайший телеграф – отправить телеграмму хозяйке.

Когда он вернулся, раздраженный старый доктор Колокольцев уже ждал его в доме.

– Вы должны понимать, что мое время дорого, – напустился старик на управляющего, – а вы присылаете ко мне мальчика, не говорите толком, в чем дело, но требуете, чтобы я приехал как можно скорее...

– Просто я оказался в затруднении, – промолвил Франц Густавович кротко. – Прошу вас следовать за мной.

После чего он отпер одну из дверей и провел доктора в гостиную.

– О! – только и вымолвил Колокольцев, увидев тело. – Неужели самоубийство?

– Я не знаю, – отозвался управляющий, вытирая лоб платком. – Когда я ее нашел, пульса уже не было. Я пригласил вас, потому что вы лечили мою жену. Я не знаю, что мне делать. Я позвал вас, чтобы посоветоваться.

Поняв, что «немецкий сухарь» вовсе не имел в мыслях его задеть, а просто растерялся (да и всякий на его месте тоже бы растерялся), самолюбивый доктор смягчился.

– Вы прежде видели у госпожи Пановой этот револьвер?

– Нет.

– У нее были какие-то причины для того, чтобы покончить с собой?

– Если бы что-то такое было, моя жена бы обязательно мне сказала.

– То есть нет?

– Выходит, нет.

Колокольцев задумался, потирая подбородок.

– На вашем месте я бы известил полицию, – решил он. – Конечно, на первый взгляд это похоже на самоубийство, но... Вполне может быть и убийство, – добавил он, передернув плечами.

Роковое слово – не убийство, а полиция – было произнесено. Франц Густавович вздохнул. Как многие старомодные люди, он придерживался той точки зрения, что честному человеку не следует иметь дела с полицией в каком бы то ни было качестве. И еще его корбило, что убили госпожу Панову или она просто покончила с собой, но произошло это именно в доме, оставленном на его попечение, доме, за который он отвечал.

Смирившись, он вызвал жену, ввел ее в курс дела и попросил поставить власти известность.

– А родным Евгении Викторовны вы ничего не хотите сказать? – любопытствовал доктор.

– Полагаю, что с ними будет говорить следователь, – дипломатично отозвался управляющий. – Возможно, он захочет посмотреть на их реакцию, когда они услышат о случившемся.

«А ты, однако, вовсе не глуп, хоть и немецкий сухарь», – одобрительно помыслил доктор. Однако удержать происшествие в тайне не удалось: слуга, которого послали за полицией, немедленно проговорился хорошенькой Дуняше, горничной убитой. Та тотчас же бросилась к Колбасину, а тот поспешил к управляющему – требовать объяснений, что происходит. Через несколько минут дом гудел, как растревоженный улей. Хлопали двери, по комнатам бестолково метались люди; все задавали друг другу тревожные вопросы и строили самые невероятные предположения. Франц Густавович занял пост часового у прикрытой, но не запертой двери в гостиную и стойко игнорировал все попытки его разговорить. Он согласился пропустить внутрь только мужа убитой. Доктор, который присел к столу и писал в тот момент бумагу для следствия, бросил на лицо Колбасина острый взгляд, в котором было не только профессиональное любопытство.

– Что же это такое? – пролепетал режиссер, дрожа всем телом. – Женя... Женечка! Что же это такое...

Анатолий Петрович Колбасин был невысокий, пухлый блондин с одутловатым чисто выбритым лицом. На мизинце левой руки он носил кольцо с бриллиантом, которое не снимал почти никогда. Сейчас он был одет в светлый костюм – тот же самый, в котором вчера ездил с женой и остальными в гости к Ергольскому. В молодости Колбасин был актером и считался превосходным исполнителем комических ролей. Может быть, поэтому он казался так нелеп, когда испытывал, судя по всему, неподдельную скорбь. Он дотронулся до руки жены, и слезы покатались по его щекам...

– Я убью его! – хрипло проговорил режиссер и кинулся ко второй двери, выходящей из гостиной, – двери, которая стараниями управляющего оказалась наглухо запертой. Пришлось вмешаться доктору Колокольцеву, и этот грузный немолодой человек оказался достаточно силен, чтобы оттащить режиссера от выхода и заставить его сесть.

– Послушайте меня, милостивый государь, – сказал врач, грозно возвышаясь над маленьким режиссером, – вы ничего не будете сейчас предпринимать... На это есть судебный следователь, полиция, прокурор. Они во всем разберутся... – Колбасин тупо смотрел на него, словно ни одно слово собеседника не доходило до его сознания. – У вас остался сын, – внушительно прибавил Колокольцев, – подумайте лучше о нем... Хорошо ли будет, если он останется совсем один?

Режиссер схватился за голову и поник всем телом.

– Вы правы... правы... – бессвязно бормотал он. – Но она... Скажите, она не мучилась? Врач посуровел лицом и покачал головой.

– Нет. Не мучилась...

– Боже мой! Боже мой... И зачем мы только приехали сюда... Я ведь отговаривал ее... Но она вбила себе в голову, что только Ергольский...

Колокольцев был не прочь услышать продолжение, но тут на пороге показался судебный следователь Игнатов. Он и доктор знали друг друга в лицо, но было бы преувеличением называть их друзьями или хотя бы хорошими знакомыми. По правде говоря, Колокольцев Игнатова недолюбливал. По его мнению, молодой следователь был еще «молокосос» и свое недурное жалованье – 200 рублей в месяц – получал за то, что ровным счетом ничего не делал, потому что серьезных преступлений в округе замечено не было. К тому же Иван Иванович отличался завидным здоровьем, то есть не имел причин прибегать к услугам доктора, выслушивать его советы и считаться с его предписаниями. Поэтому, когда Игнатов вошел, Колокольцев приветствовал его довольно сдержанно.

«Наверняка начнет меня уговаривать, чтобы я дал заключение о самоубийстве... Ну уж нет, шалишь! Я своей репутацией из-за твоего спокойствия рисковать не намерен...»

– Печально, печально, весьма печально, – обманчиво рассеянным тоном промолвил Иван Иванович, обходя кругом кресло, в котором находилась жертва. – Это муж? – Он взглядом указал на совершенно раздавленного Колбасина, поникшего на диване.

Доктор кивнул.

– Ваше заключение, Дмитрий Александрович?

– Смерть наступила от огнестрельного ранения, пуля прошла через сердце. Я бы не стал исключать убийство, – добавил Колокольцев, косясь на собеседника.

– Почему?

– Если бы речь шла о самоубийстве, она бы приставила револьвер к груди, так?

– Допустим, и что?

– После выстрела оружие должно упасть на колени, как и рука, которая его сжимала. А тут правая рука свешивается через подлокотник, а револьвер лежит на ковре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.